

## МЕХАНИЗМ АНАЛОГИИ В ФЕМИНИСТСКИХ ТЕКСТАХ

Рассуждая об особенностях феминистской интеллектуальности, известная американская писательница, работающая под псевдонимом Стархок, охарактеризовала феминистское мировидение как «акростиховое» (acrostic vision – Starhawk 1979: 199). Подобно тому как читатель при восприятии акростиха обнаруживает зашифрованные в стихотворном тексте слово или фразу, неочевидные на первый взгляд, феминист обнаруживает некие новые культурные смыслы в привычных жизненных явлениях, заново прочитывает реальность. Нестандартные, ранее не обнаруженные взаимосвязи между явлениями действительности, которые находят отражение в феминистском тексте, помогают реципиентам этого текста осознать принципиальную возможность альтернативных представлений о реальности, пересмотреть свои взгляды. Попытка спровоцировать изменения в читательской картине мира, добиться соответствующих поведенческих изменений и в конечном счете оказать влияние на социальную реальность, несомненно, и есть то, ради чего создается феминистский дискурс, по сути своей полемический и реформаторский. Именно поэтому в публикациях, посвященных женскому движению, так интенсивно используются метафоры, огромное значение которых для процессов реконцептуализации (и коррекции поведения) уже почти не требует доказательств.

Метафора как феномен языка, речи и мышления, а также возможный инструмент воздействия на общественное сознание стала предметом осмысления для многих теоретиков феминизма. Феминистские исследователи метафоры особенно подчеркивают опреде-

ляющую роль последней в «деавтоматизации» миро- и самовосприятия когнитивного субъекта. В частности, авторы-феминисты убеждены, что и расширение духовных возможностей отдельного человека, и масштабные социальные трансформации связаны с устранением «мертвых», стертых социальных метафор, лежащих в основе гендерных стереотипов (имеются в виду такие метафоры, как man = head of the family, woman = angel of the house и т.д., характеризующие личностные особенности и социальные роли мужчин и женщин). Творческое использование когнитивного потенциала метафоры позволило бы сформировать в обществе более адекватные представления о действительности, прийти к переменам через называние этих перемен (Anzaldúa 1987: 38; Daly 1985: xvii).

Не меньшее значение, чем когнитивные и прагматические функции метафоры, состоящие в объяснении и изменении социальной действительности, имеют для феминистов и коммуникативные свойства метафоры. В рамках феминистского текста коммуникативное предназначение метафоры состоит в сокращении психологической дистанции и установлении отношений доверия между автором и читателем, что способствует лучшему усвоению феминистских идей. Характерная апелляция к эмоциональной сфере читателя, сопоставление отвлеченных объектов и процессов с «земными» предметами и действиями (особенно со сферами воспитания детей или домашнего хозяйства), которые наблюдаются даже в глубоких философских трудах, сигнализирует о желании авторов-феминистов создавать сугубо академические, элитарные по содержанию произведения и тем самым сознательно сужать свою читательскую аудиторию. Поскольку феминизм традиционно мыслился именно как практика (Feminism for us is not an abstract philosophy but a way of living our lives (Foss, Foss, Griffin 1999: 5)), причем практика, рассчитанная на самый широкий социальный субстрат, такое использование эмоционально-эстетических возможностей метафоры как нельзя лучше содействует оптимизации общения между авторами-феминистами и их читателями.

Наряду с метафорой многие из перечисленных функций может выполнять и сравнение — еще один троп, широко распространенный в феминистском тексте. Лингвисты совершенно оправданно указывают на некорректность отождествления сравнения и метафоры (см. Масленикова 1999). Замечено, в частности, что в рам-

как метафоры тождество несводимых друг к другу сфер действительности мыслится как действительное, а в сравнении — как мнимое. По этой причине метафора гораздо экономнее и выразительнее сравнения в плане средств реализации. На поверхностном уровне полное тождество сопоставляемых объектов в метафоре выражается в том числе в форме отсутствия любых языковых показателей компаративности (таких, как маркеры like, as... as, you might as well say that...); в то время как для сравнения такие показатели весьма характерны. На глубинном уровне отметим радикальность производимых автором над понятийной системой адресата семантических преобразований и когнитивных манипуляций, которые носят гораздо более радикальный характер при метафоре, чем в случае образного сравнения. Тем не менее оба рассматриваемых тропа характеризуются одним существенным сходством: в их основе лежит механизм сближения понятийных сфер, которые обычно мыслятся как несводимые друг к другу. Подобное сближение позволяет увидеть одну группу объектов через призму другой, применить к осмыслению некоторого фрагмента действительности новый, непривычный когнитивный шаблон, в результате чего происходит взаимное обогащение рассматриваемых объектов признаками друг друга. Независимо от полноты или неполноты сходства между объектами, сопоставленными в пределах метафоры или сравнения, сама неожиданность уподобления этих объектов может давать сильный эффект воздействия на реципиента. Возникновение метафоры и сравнения, а также их прагматический эффект во многом основаны на самом факте отсутствия устойчивых семантических связей между некоторыми понятийными сферами и преодолении этого разрыва автором текста, а вслед за тем и читателем.

Таким образом, в когнитивном плане сходство метафоры и сравнения состоит в том, что в основе обоих этих тропов лежит механизм аналогии, т. е. установления ассоциативных связей (в форме частичного сходства или полного тождества) между обычно не сопоставляемыми явлениями. Это сходство отражено и в общности основных компонентов терминологической системы, служащей для анализа и описания метафор и сравнений (Чудинов 2003: 71–73). В частности, к метафоре и сравнению применимы такие понятия, как исходная и целевая понятийные области аналогии (сфера-источник и сфера-цель); фреймы, относящиеся к данной модели аналогии и состоящие из типовых слотов; основание аналогии (общие при-

знаки сопоставляемых понятийных областей, критерий сходства); направление аналогии.

Тенденция усматривать сходство между теми или иными группами явлений действительности определяется индивидуальными особенностями концептуальной картины мира данного когнитивного субъекта. Тем не менее можно предположить, что сообщества людей, объединенных некими социальными или идеологическими параметрами, могут обладать предрасположенностью к установлению аналогий между определенными классами объектов. Так, при чтении феминистских текстов обращает на себя внимание тот факт, что представления авторов об особенностях феминистичности и маскулинности укладываются в довольно устойчивую систему частотных аналогий. Реализация данных аналогий в тексте — один из тех признаков, по которым читатель в состоянии идентифицировать текст как феминистский. Иными словами, идеология феминизма, как и многих других интеллектуальных течений, предполагает установление определенных семантических связей между некоторыми концептами, и эти связи закреплены в узнаваемых когнитивных моделях, построенных на основе механизма аналогии. В нашей работе мы попытаемся рассмотреть некоторые модели аналогий, на основе которых строятся метафоры и сравнения в феминистском тексте, и определить их связь с особенностями феминистской картины мира. Данные ключевые аналогии участвуют в формировании идеологической системы феминизма и носят распространенный, но не обязательный для любого автора-феминиста характер. Реализация таких аналогий в тексте может проявляться с той или иной степенью вероятности, обусловленной идейной и культурной неоднородностью феминистского движения.

Изначально феминизм возникал как направление социальной критики и, несмотря на огромный интерес современных феминисток к проблемам индивидуальности и субъективности гендерных различий, не утрачивает своей социальной релевантности до сих пор. Поэтому неудивительно, что многие метафоры и сравнения в рамках феминистского текста выступают как средство моделирования автором именно социальной реальности. Мы рассмотрим некоторые наиболее характерные, с нашей точки зрения, способы реализации механизма аналогии на примере образных высказываний, которые отражают результаты концептуализации и категоризации авторами-феминистками особенностей современного общественного

устройства, а также гендерно обусловленных поведенческих характеристик отдельного человека. В частности, мы планируем уделить внимание актуализации в феминистском тексте аналогий «человек ~ животное», «человек ~ объект техники», «духовное ~ бытовое» и «маргинализация женщин ~ пространственная ограниченность» (контейнерная аналогия). Значок ~ будет использоваться для обозначения отношений аналогий.

Конкретное содержательное наполнение аналогии диктуется авторской дискурсивной стратегией, реализуемой в данном фрагменте текста. Поскольку основная содержательная особенность феминистского текста — анализ особенностей современного патриархального общества и предложение некоего проекта реорганизации этого общества на справедливых (феминистских) началах, можно считать, что автор-феминист руководствуется при создании своего текста одной из двух стратегий — *констатирующей*, нацеленной на характеристику андроцентрического мироустройства, или *императивной*, связанной с представлением феминистского социокультурного проекта. Патриархальное общественное устройство в рамках констатирующей стратегии обычно мыслится автором как основанное на принципах соревновательности, доминирования, взаимного отчуждения, неравноправия. Альтернативное устройство общества в рамках императивной стратегии представляется как основанное на декларируемых феминистами принципах равноправия, самоценности личности, взаимной поддержки членов общества по отношению друг к другу (Foss, Foss, Griffin 1999: 8). Принимая во внимание определяющую важность дискурсивной стратегии с точки зрения актуализации тех или иных моделей аналогии, мы попытаемся там, где это возможно, проследить динамику модификации данных моделей от одной стратегии к другой.

Материалом для исследования послужили работы англоязычных теоретиков феминизма — Дж. Гривер, М. Дзали, Г. Анзалдуа, Ч. Крамарей, Белл Хукс, Стархок, С. Гархарт, К. и С. Фосс и К. Гриффин и других.

Аналогия «Человек ~ животное». Исследования аналогии «человек ~ животное» и обратно направленной модели «животное ~ человек» имеют давнюю традицию в феминистской лингвистике, что обусловлено интересом феминисток к особенностям функционирования гендера как инструмента категоризации окружающей действительности. Учитывая тот факт, что гендер пред-

ставляет собой сложный когнитивный шаблон, который может быть применен к самым разнообразным предметам и явлениям («мужским» и «женским» могут быть рифмы, штекеры и автомобили), вполне закономерно стремление феминисток понять, в чем причина подобной универсальности и как перенос гендерного шаблона на несоциальные явления способствует закреплению гендерных стереотипов. В этой связи особое значение приобретает антропоморфизм, который также способен выступать как одно из проявлений гендерной стереотипизации в форме проецирования гендерных стереотипов на животный мир. Перенос особенностей социума на мир природы и характеристик животного мира на человеческое сообщество рассматривался как на словарном, так и на текстовом материале. В связи с этой проблемой особенно большое внимание уделялось изучению гендерспецифических зоонимов (таких, как chick, pussy-cat, bitch, beaver, old bat, cow, stag, cock, stud), а также закадровых текстов в документальных фильмах о природе, где особенности человеческой социальной классификации проецируются на жизнь животных (Coward 1984; Crowther, Leith 1995; Daly 1978).

При рассмотрении метафор и сравнений, построенных на основе модели «человек ~ животное», обращает на себя внимание то, что феминистский дискурс зачастую устанавливает отношения подобия между мужщиной и теми животными, которые характеризуются недружелюбием и агрессивностью (модель «мужчина ~ хищник»). При этом в качестве объекта агрессии могут выступать либо представители одного с хищником биологического вида, либо более слабые животные других видов. В первом случае агрессия принимает форму жесткой состязательности в пределах собственной «стаи»; в терминах данной модели феминистские тексты характеризуют взаимодействие среди мужчин. Во втором случае объект агрессии представлен жертвой, который служит для хищника источником пищи и обеспечивает его выживание ценой собственной смерти, как правило, эта модель используется для описания взаимодействия между мужчинами и женщинами («мужчина ~ хищник, женщина ~ жертва»). Животный мир в рамках данной аналогии мыслится как существующий в условиях суровой конкуренции между отдельными особями.

Рассмотрим две выдержки из программного произведения Дж. Гривер «The Whole Woman», которое характеризуется полемич-

чески заостренным, парадоксальным стилем изложения и многочисленными параллелями между социальным и животным миром. В примере (1) результат метафорического осмысления автором взаимоотношений между мужчинами как представителями особой субкультуры. В примере (2) автор образно выражает свои представления об истинном характере взаимоотношений внутри гетеросексуальной пары. Оба примера актуализируют модель «мужчина ~ агрессивное животное/хищник».

(1) Men's culture is hierarchical; junior males are systematically humiliated by the silverbacks (GG: 395).

Репрезентантом базовой аналогии «человек ~ животное» выступает в данном случае лексема *silverback*, имеющая прямое значение «вожак в стаде горилл». (Мотивировка слова связана с внешними характеристиками самца гориллы, которого можно отличить по полоске серебристо-белой шерсти вдоль спины.) Совершенно очевидно, что в контексте приведенного примера слово *silverback* употреблено метафорически в значении «лидер, человек высокого статуса, авторитетное лицо»; таким образом, наличие аналогия между представителями человеческого и животного социума. Сопоставление человеческого и животного мира дополнительно подчеркивается тем обстоятельством, что автор фрагмента выбирает из доступных обозначений лиц мужского пола лексему *males*, а не, допустим, *men*. Действительно, лексема *males* служит для обозначения как людей мужского пола, так и мужских особей животных, самцов.

Особый интерес в рассматриваемом случае имеет критерий аналогии, т. е. те факторы, которые позволили автору увидеть сходство между мужчинами и гориллами. Автор находит возможным эксплицировать некоторую часть признаков, провоцирующих когнитивного субъекта на установление этого сходства: предложение *Men's culture is hierarchical*, которое предвещает собственно метафору, помогает читателю уяснить, что сходство между гориллами и мужчинами состоит в отчетливом статусном делении, характерном для их сообществ. Тем не менее можно заметить, что на деле критерий аналогии в высказывании Дж. Грэйр гораздо шире, чем его эксплицитное выражение. Действительно, гориллы — явно не единственный в природе биологический вид, для которого типично иерархическое строение популяции: пирамидальной структурой социума обладают муравьи, пчелы, львы. На наш взгляд, в приложении к данному фрагменту можно говорить о множественности

критериев аналогии, и, по-видимому, сопоставление мужской субкультуры именно с сообществом горилл основано не только на эксплицированном признаке иерархичности, но и на некоторых других параметрах. Во-первых, в качестве дополнительных критериев аналогии между мужчинами и гориллами могли выступать некоторые корпоральные характеристики сопоставляемых объектов, такие как физическая сила, грозный вид (отметим, что словарь Макмиллан выделяет для лексемы *gorilla* значение «мужчина, производящий впечатление глупого или агрессивного человека» — *gorilla 2. [informal] a big man who seems stupid or violent (MED)*). Во-вторых, аналогия «мужчина ~ горилла», возможно, опирается и на признак человекоподобия. Несмотря на то что объект сравнения в данном случае является антропоморфным, предположение не так абсурдно, как может показаться на первый взгляд.

Остановимся на этом аспекте рассматриваемой модели более детально. Известно, что обезьяны (и в особенности гориллы) нередко выступают как источник для метафор, обозначающей человека, которого говорящий считает ущербным в том или ином смысле. Эта особенность концепта «обезьяна» проявляется, в частности, в распространенном среди белых расистов использовании слов *ape*, *monkey*, *gorilla*, а также соответствующих визуальных образов по отношению к лицам азиатского, африканского и латиноамериканского происхождения. Оскорбительность такого сопоставления хорошо осознается представителями этнических меньшинств. Достаточно вспомнить случай, который был зафиксирован в газете «Портленд Трибьюн» 22 ноября 2003 г.: чернокожие посетители хип-хоп клуба в Портленде были возмущены тем фактом, что на багажник полицейской машины, осуществлявшей охрану клуба, была помещена огромная игрушечная горилла ([www.portlandtribune.com/archview.cgi?id=C112203](http://www.portlandtribune.com/archview.cgi?id=C112203)). Мы предполагаем, что такое функционирование образа обезьяны в языковом сознании имеет в своей основе осознание когнитивными субъектами значительного внешнего сходства между человеком и приматами. Это сходство обезьяны с эталонным образом человека является столь разительным, что любое отклонение от данного эталона воспринимается когнитивным субъектом крайне негативно — возможно, даже более негативно, чем если бы животное не было похоже на человека вовсе. Общность внешних свойств человека и обезьяны как бы дает основание для того, чтобы оценивать эти два вида по одним и тем

критериям; подходить к приматам с «человеческими» мерками. Между тем в плане интеллектуальных, моральных и поведенческих характеристик, которые, собственно, и определяют человека личность, обезьяна оказывается несравнимо более примитивной и стоит ближе к животному миру, чем к человеческому обществу; таким образом, внешний облик обезьяны крайне обманчив. В результате несоответствия между ожидаемыми и реальными характеристиками объекта осмысления возникает когнитивный диссонанс, который, очевидно, и вызывает комплекс негативных ассоциаций с этим объектом. Если вернуться к особенностям функционирования образа гориллы в рамках расистского дискурса, можно объяснить эти особенности существованием некоей вульгарной лого-антропологической теории, в рамках которой представители африканских, азиатских и других этнических групп и приматов сопоставлены на основе признака неполного человекоподобия. Иными словами, представители национальных меньшинств и приматы рассматриваются как «недочеловеки», примитивные животные, неудачно подражающие эталонному, «прототипическому» (т. е. ему) человеку.

Приведенный отрывок из работы Дж. Гриэр также отсылает читателя к комплексу негативных ассоциаций, сопровождающих образ гориллы: примитивность, первобытность гориллы метафорически осмысливаются автором как нежелание маскулинного субъекта бросить устаревшие патриархальные представления о действительности и соответствовать социальным требованиям сегодняшнего дня. Используя метафору, автор фрагмента указывает на то, жесткая пирамидальная структура, характерная для мужского шекства, на сегодняшний день архаична, в прямом смысле бесвечна и перестала отражать современные социальные реалии. Следующий фрагмент представляет собой продукт метафорического осмысления автором-феминистом гетеросексуальных отношений, которые также кондиционируются в терминах поведения predators животного мира.

2) The man who terrorizes a woman, who telephones her all through the night, who parks his car outside her house for weeks on end, who sends her terrifying packages and follows her wherever she goes, thinks that 'love' gives him the right to do so. You might as well say that foxes 'love' rabbits, which they surely do. Jack loves Jill not as Jill loves Jack, but as Jill loves chocolate.

'Love' is the name given to sexual appetite which can be experienced by the object as the rabbit experiences the fox (GG: 282).

Рассуждая об истинной природе чувства, которое гетеросексуальный мужчина испытывает к своей партнерше, Дж. Гриэр характеризует это чувство путем сопоставления с «анималистическими» и «гастрономическими» аналогами. Приведенный пример репрезентирует аналогию довольно сложного типа. В рамках данной аналогии проводится сопоставление трех групп объектов, отношения между которыми имеют сходный характер: это отношения между мужчиной и женщиной, лисцей и кроликом, женщиной и шоколадом — Jack:Jill ~ fox:rabbit ~ Jill:chocolate. (Имена собственные Jack, Jill выступают как собирательные наименования всех мужчин и женщин вообще и именно таким образом функционируют в англоязычном пословицном фонде.) При этом отношения Jack:Jill носят во фрагменте доминантный характер, так как именно они — главный объект осмысления для автора как когнитивного субъекта. Кроме того, в пределах аналогии косвенным образом сопоставлены между собой субъекты, которые испытывают сходные чувства (Jack, fox, Jill), и объекты, на которые это чувство направлено (Jill, rabbit, chocolate).

Отношения внутри указанных пар объектов сходны в том плане, что все они могут быть рассмотрены в рамках концепта «love». Однако в этом, по мнению автора, и скрывается опасность для мужчины и женщины, вовлеченных в гетеросексуальные отношения, так как смысловое наполнение этого концепта различается в зависимости от гендера когнитивного субъекта. Тройная аналогия Jack:Jill ~ fox:rabbit ~ Jill:chocolate сигнализирует о том, что мужское восприятие определяется аспектами сексуальной активности и удовлетворения физиологических или бытовых потребностей, а также психологического самоутверждения, нередко за счет интересов партнерши. Такое восприятие отнюдь не исключает намеренного причинения дискомфорта «любимой» путем использования обширного арсенала средств психического подавления (terrorize a woman, telephone her all through the night, park one's car outside her house for weeks on end, send her terrifying packages, follow her wherever she goes). Таким образом, мужская любовь в рамках данной тройной аналогии мыслится как род потребления, практически неотличимый от процесса питания; отсюда сопоставление объекта любви с

лакомством (шоколад). Интересно, что женское восприятие любви не получает в тексте конкретного описания и представлено скорее в форме отрицательной категории (*Jack loves Jill not as Jill loves Jack*). Отказ от модели «любовь = потребление», очевидно, предполагает со стороны фемининного субъекта готовность на самопожертвование ради любимого человека, а также попытки установления эмоциональной близости с партнером (а именно эти компоненты отсутствуют в мужской модели гетеросексуального партнерства). Можно предположить, что потребительское отношение к окружающим и тенденция к ограничению их свободы, представляющие серьезную социальную угрозу, и являются для феминиста наиболее существенными особенностями маскулинного поведения.

«Еловая» природа взаимоотношений между полами, как ее представляет себе автор рассматриваемого фрагмента, дополнительно подчеркивается использованием устойчивого словосочетания *sexual appetite*. Это словосочетание обыгрывает распространенную концептуальную метафору «страсть = голод/жажда, объект влечения = еда/напиток», которая составляет важный компонент «народной теории сексуальности» и репрезентируется, например, в следующих высказываниях: *He is sex-starved; She's quite a dish; Hey, honey, let's see some cheesecake; Look at those buns!; What a piece of meat!; Hi, sugar!* (Лакофф 2004).

Тем не менее использование словосочетания *sexual appetite* в приведенном фрагменте носит весьма нетривиальный характер. При внимательном рассмотрении общеупотребительных метафорических выражений, которые приводит Дж. Лакофф, можно заметить, что признак «съемности» сексуального объекта является в них более или менее стертым. В самом деле, данные метафорические выражения не содержат указаний на некоторые существенные отношения между участниками процесса питания, как он протекает в реальности, а именно на полное физическое поглощение «едоком» определенного объекта, в результате которого этот объект прекращает свое существование. Между тем в тексте Дж. Гривэр аналогия «секс ~ голод» актуализируется с выдвиганием именно таких содержательных элементов, как уничтожение одним существом другого и конечная гибель поглощаемого существа (лис убивает и съедает кролика).

Обращает на себя внимание и характер пищи, с которой сопоставляется сексуальный объект в сознании наивного носителя и в

концептуальной картине мира (ККМ) автора-феминиста. В примерах Дж. Лакоффа упоминаются продукты и блюда, изначально предназначенные в пищу человеку и должным образом приготовленные. При этом сам процесс приготовления продуктов и блюд носит совершенно нерелевантный характер и остается за рамками данной метафорической модели. Как правило, блюда, метафорически соотносимые с сексуальным объектом, включают в себя лакомства, сласти, которые содержат либо растительные компоненты (сахар, мука), либо компоненты животного происхождения, не сопряженные с уничтожением животных (мед, творог в чизкейке). Даже если в качестве источника аналогии для объекта сексуального влечения выступает мясо, как в выражении *What a piece of meat*, данная аналогия не актуализирует фоновые знания, связанные, например, с забоем скота и разделкой туши животного. Поэтому ни говорящий, ни реципиент высказывания (если только они не вегетарианцы) обычно не задумываются о том, что употреблению в пищу мяса предшествует убийство живого существа. В рамках метафоры «секс = голод» лицо, на которое направлено физическое влечение, выступает как полностью объективированное и лишное какой-либо способности к собственным переживаниям: мед, сахар или упоминаемый Дж. Гривэр шоколад не в состоянии испытывать каких-либо негативных эмоций, когда их употребляют в пищу.

Между тем в рассматриваемом феминистском тексте данная концептуальная модель обретает совершенно новую интерпретацию благодаря тому, что в качестве аналога сексуального объекта выступает не просто пищевой продукт, а живое существо. Если сахар, шоколад предназначены для того, чтобы быть предметом потребления, и съедобность составляет их главное свойство, то структура читательских представлений о кролике не исчерпывается пригодностью этого животного в пищу. Как правило, образ кролика у носителей языка ассоциируется с мягкостью, незлобностью, добродушием, пушистостью, плодовитостью, а пригодность в пищу обычно отодвигается для нас на второй план. Для того чтобы в структуре когнитива «кролик» доминировал элемент «пригодный в пищу», необходима значительная семантическая манипуляция, в результате которой живое существо трансформируется в объект потребления и все перечисленные выше качества, кроме съедобности, утратят свою релевантность. Таким образом, кролик не яв-

гой: put out/draw in one's claws, get one's claws into somebody, to pare/cut/clip one's claws и т.д. «Снабжая» образ традиционалистски острыми когтями — характерной приметой хищного животного, ассоциативно связанной с угрозой нападения, причинения физической боли, — С. Гирхарт сопоставляет женское сообщество в условиях патриархатности с сообществом хищников. Патриархальное общество, по мнению автора фрагмента, опасно именно тем, что стимулирует отношения враждебности между женщинами, так как усматривает в их сплоченности опасность для собственного существования. По мнению автора, женщина становится хищником, если усваивает модели поведения, которые продиктованы патриархальным мироустройством.

Несмотря на возможность сопоставления женщины с хищными животными, в феминистском дискурсе преобладают аналогии «женщина ~ добыча хищника/охотника» (примеры (4), (6)) или «женщина ~ домашнее животное» (примеры (5), (7)), концептуализирующие подчиненное положение женщины в условиях андроцентризма.

(4) Female timorousness may be, like the timorousness of rabbits and deer, adaptive (GG: 354).

(5) Women are driven through the health system like sheep through a dip (GG: 147).

(6) At Saint Rose, Daly directly confronted evidence of the stunting and taming of women as well as a strong undercurrent preventing deep friendships among women (Foss, Foss, Griffin 1999: 131).

Первое, что обращает на себя внимание при самом поверхностном рассмотрении этих высказываний, — это удивительное многообразие сфер человеческого бытия, при характеристике которых авторы-феминисты используют когнитивные модели «женщина ~ жертва» и «женщина ~ домашнее животное»: медицина, образование, материнство и т.д. Как правило, в рамках данных моделей функционируют зоонимы, обозначающие животных, не склонных к нападению и лишенных серьезных средств самозащиты. В приведенных примерах это кролики, олени, овцы, причем особенно показательное использование образа овцы — традиционного христианского символа жертвенности, кротости и смирения. Интересно отметить, что жизненные проявления «добычи» и домашних животных практически повсеместно мыслятся не как обусловленные волей самих этих животных, а как управляемые извне. О нали-

чия внешнего локуса контроля сигнализирует обилие грамматических средств, подчеркивающих «объектный», рецептивный характер животного / феминистности — пассивные формы (women are driven), отлагательные существительные с фемининым объектом (the stunting and taming of women), включение женщины в актантную структуру в качестве пациента (preventing deep friendships among women; to become a mother without wanting to).

Специфичным для модели «женщина ~ домашнее животное» оказывается параметр функциональности, полезности, способности выполнять определенную работу, нередко утомительную и скучную. Яркий пример аналогии, основанной на таком утилитарном представлении о социальной функции женщины, дает нам текст французской феминистки Ф. Парторье в примере (7). Автор текста рисует оптимистическую картину того, как со временем женщины откажутся поддерживать андроцентрическую социальную парадигму. Строго говоря, этот фрагмент реализует императивную текстуальную стратегию. Однако нам представляется возможным и уместным привести его именно здесь, так как модель взаимодействия между гендерами строится в данном случае с соблюдением характерных для констатирующей стратегии принципов, но как бы со знаком «минус», в форме их отрицания.

(7) With their heads and their bodies finally liberated, with their eyes wide open, women will no longer be like those blinded horses who turn in circles round the wheel to which they are attached; they will no longer turn blindly, lovingly around you, Sir... They will no longer bury themselves in you (дается в переводе Дж. Гривз (GG: 422)).

Женщины сопоставляются в этом фрагменте с лошадьми в шорах, вращающими некий механизм. Образ лошади, избранный автором в качестве сферы-источника для данной метафоры, отнюдь не случаен, и не только в силу вызываемых этим образом ассоциаций с тяжелым трудом, сопряженным с опасностью для жизни и здоровья лошади. Безгранично преданная хозяину, лошадь воспринимается носителями языка как идеальное домашнее животное на службе у человека. Кстати, вопрос о том, кто в рамках рассматриваемой модели является хозяином домашнего животного, получает в данном случае эксплицитное разрешение.

Несмотря на то что первопричиной женского порабощения допустимо считать социальную несправедливость как таковую, основ-

ной «бенефициант» в контексте приведенного фрагмента неоспоримо является маскулинным, о чем и сигнализирует мужская форма обращения *Sir*. Вполне очевидно, что в тексте Ф. Парtridge представление об изначальном отсутствии равенства между мужчинами и женщинами выступает в качестве основной presupпозиции, так как мужчина в структуре аналогии не лишается своего антропного статуса. Это утверждение, справедливое для примеров (4)–(6), приложимо и к аналогии «женщина ~ домашнее животное» в целом. Действительно, хотя в приведенных примерах и не содержится непосредственных указаний на маскулинность хозяина, контекст употребления этих высказываний, определяющийся констатирующей дискурсивной стратегией феминистского текста, подразумевает, что уподобление свободного человеческого существа домашнему скоту составляет особенность андроцентризма.

Симптоматична кругообразная траектория, по которой движутся лошади в данном фрагменте. Действительно, идея закольцованного движения лежит в основе многих устойчивых языковых метафор, которые описывают не только действия, подчиненные определенному организующему принципу, но и действия рутинные, повторяющиеся и безрезультатные, исключающие возможность развития (Мечковская 2000: 306). В данном случае движение лошади по кругу метафоризирует оба этих свойства круга как ментального образа. Женщина видит в партнере определяющий фактор и смысл существования, однако именно это обстоятельство и лишает ее возможности полноценного социального и личностного развития.

Наконец, отдельного упоминания заслуживает использование в этом фрагменте метафорического выражения *bury oneself in sb* (*They will no longer bury themselves in you*). Это выражение представляет собой языковую метафору со значением «скрыться», «погрузиться во что-то», «прятаться» и употребляется в данном случае для обозначения такой ситуации, при которой женщина теряет свою идентичность и как бы растворяется в любимом человеке. Тем не менее использование этой метафоры в контексте рассматриваемого фрагмента довольно показательное, так как слово *bury*, особенно на фоне аналогии с лошадью, неизбежно вызывает у читателя ассоциации со смертью (образ загнанной лошади). Сопоставление патриархальности и смерти является одной из наиболее характерных особенностей феминистского дискурса.

Интересно, что в тех редких случаях, когда в феминистском

тексте с домашним животным сопоставляется мужчина, в концепте «домашнее животное» угадываются компоненты служения, подчиненности и структура концепта начинает определяться параметрами жестокости, агрессивности. В результате домашнее животное как бы «дичает», приобретает те же характеристики, о которых мы говорили в связи с моделью «мужчина ~ хищник».

Рассмотрим следующий пример.

(8) Perhaps men, like dogs, unconsciously scout fear, find it gratifying and exciting and ultimately interpret it as a cue for attack (GG: 354).

В приведенном фрагменте репрезентирована аналогия «мужчина ~ собака», причем критерием аналогии является в данном случае агрессивное поведение субъекта по отношению к тем, кто испытывает перед ним страх. Выбор собаки в качестве сферы-источника представляет большой интерес с точки зрения того, как в пределах феминистского текста аналогия с маскулинным субъектом способствует выдвиганию вполне определенных и предсказуемых характеристик в таком неоднозначном в оценочном плане концепте, каким является концепт «собака». Интересно, что в англоязычной картине мира этот концепт воплощает многообразные и зачастую взаимно противоречивые представления, возникшие в ходе долгой истории контактов человека и собаки. Собака служит олицетворением то смелости (*dog drama*), то трусости (*with one's tail between one's legs*); то доброты и нежности (*puppy love*), то звериной жестокости и жадности (*dog eats dog; bark like a dog; pack mentality; dog in the manger*); то дружбы (*man's best friend; if you want a friend in Washington, get a dog*), то рабской покорности (*watchdog; to be on a short leash; to jump through the hoop*), то трудолюбия и высокой активности (*work like a dog; dog-tired*), то крайней лени (*He was dogging it the whole time; lazy as a dog*). Тем не менее в рамках примера (8) структура концепта «собака» реализуется таким образом, что устойчивые позитивные ассоциации с этим концептом оказываются непроявленными. Так, автор сознательно игнорирует целый комплекс положительных признаков, которые обычно рассматриваются как центральные для данного концепта — преданность и неподдельная любовь собаки к хозяину, готовность защищать его перед лицом опасности, способность к сопереживанию и т. д. Авторская интенция в данном фрагменте предусматривает выдвигание таких характеристик концепта «собака», как враждебность, агрессивный



ство интересов мужской части населения, он также осмысливается терминах механизма, который является травматическим или специфично предназначенным для уничтожения.

(20) It was no use straggling — I had lost long ago, I had lost when I decided to be a human being and not a role. I knew that nothing anyone could say or do would stop the rattling wheel from grinding me to death (JNN: 324–325).

Наконец, довольно распространенная особенность феминистского текста — использование аналогий, констатирующих сходство между сексуальным контактом и технологической операцией. Эти аналогии, как правило, применяются в случаях, когда автор текста пытается охарактеризовать и опровергнуть андрогенитрическую модель сексуальности. Ср. фрагмент (21), в котором сексуальный контакт уподобляется заколачиванию свай.

(21) It is men who assess sexual relationships as if it were a variety of pile-driving (GG: 341).

Идея о том, что сексуальность в английской языковой картине мира выражается по преимуществу с помощью «ремесленных» метафор, является для гендерной лингвистики уже традиционной. В частности, многие исследователи (Stowher, Leith 1995; Sridhar 1980) обращали внимание на то, что сниженно-разговорные лексемы со значением полового контакта, как правило, носят ярко выраженный механистическую окраску. Большинство таких слов обозначает активные действия, производимые маскулинным субъектом над фемининным объектом, причем последний осмысливается в терминах пассивного предмета или материи. Совершенно не случайно многие жаргонные лексемы, обозначающие сексуальный контакт, являются техницизмами как минимум в одном из своих словарных значений: так, глагол *sew* обозначает «завинчивать, прикручивать»; *root* — «приковырять, приповодлять, рыть землю, корчевать»; *slag* — «излохмачивать, делать шершавым, загромождать поверхность»; *slag* — «загромождать, делать шершавым, загромождать поверхность»; *slag* — «загромождать, делать шершавым, загромождать поверхность»; *slag* — «загромождать, делать шершавым, загромождать поверхность»; *slag* — «загромождать, делать шершавым, загромождать поверхность» (ср. рус. *загручивать болты, стержни, пилить, перемешивать, укладывать, вставлять целлюлозу, стержни, пилить, перемешивать, укладывать, вставлять целлюлозу*). Подобный ремесленный подход к языковой системе в сексуальным отношениям вызван доминированием маскулинной когнитивной парадигмы при осмыслении данной сферы человеческой жизни. Расматриваемый фрагмент (21) автор которого пародирует представления мужчин-мачо об идеальном сексуальном контакте, — еще один случай актуализации такой технологической модели.

Немोटри на определенную сопротивляемость феминистской картины мира современным технологизм, существует направление феминизма, в рамках которого некоторые явления, связанные с миром техники, прежде всего с информатическими технологиями, воспринимаются весьма положительно. Это направление получило название киберфеминизма. Киберфеминистское течение сформулировано под влиянием работ Сэди Планта и Розы Брайлоти и основано на убеждении, что техника не обязательно враждебна женщине. Напротив, контроль над информационными технологиями, вхождение в киберпространство стали для женщин наилучшей необходимостью в условиях современного мира. Более того, киберфеминист Джовна Харлауэй высказывает предположение, что использование компьютерных технологий в межличностном общении в конечном итоге приведет к полному исчезновению гендера как категории (равно как и оппозиции «биология — технология», «естественное — искусственное», «человек — механизм») благодаря странной граници между человеком и машиной. Для обозначения такого гибрида машины и человеческого существа Д. Харлауэй использует термин «киборг», впервые использованный в научной фантастике.

(22) I would rather be a cyborg than a goddess (ICD 83).

Высказывание содержит две метафорические характеристики взаимноисключающих образов самоидентификации, доступных женщине, — роль киборга, с одной стороны, и богини — с другой. Новое понятие *goddess* само по себе не содержит явно отрицательных коннотаций: *goddess*. I one of the female spirits or beings with special powers that people in some religions believe in or worship; 2 a very beautiful woman; 3 a woman who manipulates adroitly or slyly (MED). В условиях феминистского дискурса выражаемый этим словом концепт за редким исключением интерпретируется скорее негативно. Прежде всего, концепт «goddess» гендерно маркирован — за ним стоит женский и только женский образ, что делает этот концепт эффективными инструментом гендерной стереотипизации. В структуре концепта явно доминируют такие параметры, как внешняя привлекательность, сексуальность, гламур. Действительно, несмотря на возможность употребления данного слова для обозначения известной женщины, которая вызывает вообще восхищение, номинативный потенциал данного слова ограничен по преимуществу группой женщин, занятых в сфере шоу-бизнеса и исполнительских искусств. Иными словами, мы можем применить обозначение *goddess* по отношению

к Шер или Николь Кидман, но не по отношению к Айрис Мердок или Юлии Кристевой, при всем уважении к неоспоримым заслугам последних. Допустимо сказать, что концепт goddess отражает культурную функцию женщины как главным образом визуального и сексуального объекта, характерную для андроцентрического общественного устройства. В отличие от образа богини, образ кибора подчеркнуто асексуален, безразличен к гендерному делению и допускает возможность проекции как на женщину, так и на мужчину. Это человек-механизм, человек-мысль, полностью свободный от телесности, которая (и с этим соглашается большинство феминисток) стала биологическим субстратом для всего комплекса социальных и культурных установлений, регламентирующих бытие женщин и мужчин в обществе. Таким образом, «отказ» когнитивного субъекта воспринимать собственное тело как часть своей идентичности сигнализирует о неприятии стереотипов, связанных с гендерным делением и основанных на присвоении символических характеристик физическим параметрам.

Несмотря на сказанное, представляется, что подобное сопоставление женской личности с объектом техники составляет для феминистского дискурса скорее исключение, чем правило. В большинстве своем техноморфные аналогии носят маскулинизированный характер, а фемининность, напротив, осмысливается в терминах природности и телесности; при этом техника и технократическая цивилизация рассматриваются как источник угрозы для природы, символизирующей непрерывное обновление жизни и победу над смертью.

Аналогия «духовное ~ бытовое». Говоря о феминистском дискурсе, невозможно не упомянуть о таком важном его свойстве, как особые его отношения с бытовой, житейской сферой человеческого существования. Характерно, что авторы-феминистки, очевидно, считают для себя невозможным, да и ненужным, абстрагироваться от повседневности ради интеллектуальной самореализации. Женской духовности, по мнению феминисток, вообще присущ некий холизм, не предполагающий трагичного в своей жесткости деления на матерно и дух. В этой связи уместно было бы вспомнить высказывание известной американской феминистки и филолога Черис Крамарэй об особенностях коммуникации в женской академической среде. Рассказывая о заседаниях женского научного общества Women, Information Technology and Scholarship (WITS),

Ч. Крамарэй упоминает о том, что в ходе дискуссий, посвященных сложнейшим философским проблемам, участницы постоянно сопоставляли интеллектуальную деятельность с самыми будничными явлениями: We did not leave our bodies or spirits behind as we discussed. Our talk included references to food, eating, cooking, meditation, and human comfort as we talked about how intellectual engagement can best work (Kramarag 1997).

Совершенно закономерным представляется тот факт, что в феминистском тексте аналогии, сопоставляющие явления духовной или общественной жизни с бытовыми действиями, носят регулярный характер. Использование авторами-феминистками повседневных объектов и операций в качестве аналогов для продуктов, явлений и процессов духовной культуры, создаваемых с участием женщины, опирается на весь тот продолжительный исторический опыт, в результате которого женщина оказалась неразрывно связанной с насущной реальностью человеческого существования и взяла на себя функции, связанные с рождением и воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. По мнению феминисток, в условиях андроцентрической структуры общества все эти функции социально обесценены и обладают крайне низкой степенью престижности, причем даже воспитательные функции не составляют исключения. Феминистки неоднократно предпринимали попытки реабилитировать женский труд в общественном сознании, хотя справедливости ради нужно отметить, что эта деятельность пока не принесла желаемого успеха (Greer 1999: 79). Сопоставление процессов духовной и общественной жизни с функциями, возложенными на женщину, может восприниматься как составная часть такой реабилитационной деятельности, основным когнитивным механизмом которой является сокращение в сознании общества якобы непреодолимой дистанции между маскулинизированной культурой и феминизированным бытом.

Метафоры и сравнения, реализующие модель данного типа, используются в рамках и констатирующей, и императивной стратегий.

Аналогия «духовное ~ бытовое» не составляет исключительной прерогативы феминистского письма. Процесс вынашивания и рождения ребенка, например, традиционно используется как сферический источник для акта творчества; вспомним, например, юмористическое стихотворение Самы Черного о поэте, переживающем творче-

ский кризис: Я пою на родильнице, // Готова скрежетать! // Проклинаю чернильницу // И чернильница мать. Тем не менее прагматические функции этой аналогии в пределах феминистского дискурса довольно своеобразны. Рассмотрим пример (23), представляющий собой цитату из книги «Going out of our minds» американской феминистки Сони Джонсон, первой в США женщиной-кандидатом на пост президента. С. Джонсон рассказывает, что в ходе своей избирательной кампании она неоднократно встречалась с женщинами-избирательницами и просила их представить, что бы они сделали, если бы оказались во главе правительства. С. Джонсон признается, что в беседах с женской аудиторией она неожиданно для себя осознала, что политика в действительности намного проще, чем ее пытаются представить журналисты и сами политические деятели. Эту мысль она подкрепляет аргументом, выраженным в следующей форме.

(23) Even doing dishes can look awkward and can turn into a mess if one doesn't understand certain basic principles (JGM: 208).

Как видим, в рамках высказывания автор соотносит понятийные сферы двух родов человеческой деятельности — политику и мытье посуды, причем в качестве критериев сходства в данном случае выступают необходимость соблюдать определенные правила в процессе деятельности, а также видимая сложность этой деятельности и возможность нежелательных последствий в случае если эти правила неизвестны деятелю или нарушаются им. Прагматический эффект аналогии «политика ~ мытье посуды» во многом основан на преодолении автором огромного разрыва, который существует между понятийными сферами. Действительно, с одной стороны — ответственная деятельность, постоянно находящаяся в центре общественного внимания, доступная немногим избранным и относящаяся к традиционно мужской сфере влияния; с другой — примитивная, повседневная бытовая операция, которую на протяжении жизни совершает сотни раз каждый человек, и уж тем более каждая женщина. В результате сближения этих понятийных сфер читатель вслед за автором утверждает в мысли о том, что участие в политической деятельности, даже на самых высоких ее уровнях, может быть доступно женщине в той же мере, как и работа по дому, которая также требует серьезных организаторских навыков. (Сходный механизм задействован в знаменитом политическом слогане о том, что в Советской России любая кухарка сможет управ-

лять государством.) Таким образом, используя аналогично данному типу, автор оспаривает неизбежность мужского господства в общественно значимых сферах существования и призывает женщин к освоению новых, престижных областей деятельности.

Рассматриваемая модель аналогии довольно характерна для феминистских работ. При этом в качестве сферы-цели, кроме политики, могут выступать и другие области деятельности, чаще всего литература, философия, интеллектуальная жизнь в целом, а в качестве сферы-источника обычно используются понятийные области рождения, вскармливания и воспитания детей (см. примеры (12), (24), (28)), приготовления пищи и кормления (25)–(26), других хозяйственных операций (23), женских ремесел (27), целостности (28).

(24) The rhetor's action takes the form of a push toward freedom for the givee, as in the act of giving birth (GW: 198).

(25) [О роли непосредственного личного опыта в феминистском дискурсе:] As hooks explain, imagine "we are baking bread that needs flour. And we have all the other ingredients but no flour. Suddenly the flour becomes most important even though it alone will not do" (Foss, Foss, Griffin 1999: 83).

(26) I choose words, images, and body sensations and animate them to impress them on my consciousness, thereby making changes in my belief system and reprogramming my consciousness. This involves looking my inner demons in the face, then deciding which of them I want in my psyche. Those I don't want, I starve; I feed them no words, no images, no feelings. I spend no time with them, share not my home with them. Neglected, they leave (Anzaldúa 1987: 70–71).

(27) A Spinster is a woman whose occupation is to Spin, to participate in the whirling movement of creation; one who has chosen her Self, who defines her Self by choice neither in relation to children nor to men (DWW: 167).

(28) I will move around this world with lots less pushiness and lots more care; I might adopt a more respectful nurturing attitude towards the world wishing all things health and longevity (GW: 263).

Во всех приведенных случаях сопоставление духовного и бытового призвано не только и не столько описать явления культурной жизни в терминах реалий, которые не повсеместно известны и

близки женскому контингенту — авторам и целевой аудитории. Основная прагматическая функция аналогии «духовное ~ бытовое» — своего рода десакрализация тех сфер человеческой деятельности, общественной и творческой, которые традиционно воспринимаются как «более типичные/подходящие» для мужчин и окружены ореолом таинственности и непостижимости для простых смертных (политика, бизнес, культура). Использование данной модели аналогии выступает как метасигнал возможности для женщины получить доступ к этим сферам и утвердиться в них на правах полноправного деятеля и субъекта публичного дискурса.

Аналогия «маргинализация женщины ~ пространственная ограниченность» (контейнерная аналогия). Одной из основных идейных особенностей феминизма является представление о маргинальном положении женщины в культурном и языковом пространстве и о рецептивности как единственно возможной для женщины модели поведения при патриархальном мироустройстве. Закрепленный в традиционной культуре стереотип феминистности предписывает женщине в общественной и интеллектуальной жизни играть роль восхищенного зрителя, созерцающего чужие подвиги, или музы — вдохновительницы на великое деяние, но ни в коем случае не деятеля; сочувствующего слушателя, но не риторика. Поэтому совершенно неудивительно, что в феминистском дискурсе постоянно в той или иной форме обыгрывается идея отлученности женщины от всего, что жизненно важно и ценно. Отсутствие у женщины возможностей для активной и целесообразной деятельности, социальная маргинализация женщины нередко осмысливается авторами-феминистками в терминах локативной ограниченности. Иными словами, существование женщины описывается в феминистском тексте как протекающее в замкнутом, стесняющем движенье пространстве. Мы будем называть подобный способ концептуализации положения женщины в социуме «контейнерной» аналогией, так как все случаи реализации этой аналогии активизируют образ-схему контейнера, по Дж. Лакоффу и М. Джонсону (Lakoff, Johnson 1980).

Использование аналогии этого типа можно считать традиционным для феминистского дискурса, так как она встречается уже в произведениях «пра-феминистки» Мэри Уоллстонкрафт (1759–1797). Рассмотрим цитату из ее знаменитого произведения «Vindication of the rights of women» и отметим характерное для кон-

тейнерной метафоры использование образа запертого помещения, который находит реализацию в леммах *cage, prison*.

(29) *Taught from infancy that beauty is woman's scepter, the mind shapes itself to the body, and roaming around its gilt cage, only seeks to adorn its prison* (TWQ: 131).

Автор творчески переосмысливает известную христианскую метафору о душе — пленнице тела, также представляющую собой случай контейнерной аналогии. Тем не менее феминистский субъект в данном примере самым радикальным образом сказывается на взаимном соотношении физического и духовного, что позволяет автору совершенно по-новому осознать и охарактеризовать бытование не просто человеческой, а именно женской души. Христианское представление о теле как темнице, или — шаре — вместилище духа, подразумевает такие ценностные установки, при которых физическое существование человека должно быть подчинено духовной жизни. Человеческая плоть передко воспринимается в христианстве как препятствие для спасения души; подлинная жизнь человека начинается тогда, когда душа покидает свою оболочку и избавляется от плотских оков. И, конечно, внешние характеристики человека, его красота или безобразие в подобной ценностной системе совершенно несущественны.

В картине мира М. Уоллстонкрафт бытие женской души определяется диаметрально противоположными принципами. Хотя женская душа в понимании М. Уоллстонкрафт также мыслится как заключенная в стесняющую телесную оболочку, красота этой оболочки обладает в глазах общества несоразмерно большим значением. Забота о внешней красоте, узаконенная требованиями культуры, традиций, становится единственной достойной женщины деятельностью и осуществляется в ущерб красоте духовной, в результате чего весь творческий потенциал женской личности подвергается девальвации. Таким образом, если христианская метафора плененной души не предполагает со стороны социума намерения ограничить или подавить духовную жизнь человека, то в раннефеминистской вариации на тему этой метафоры душа насильно помещается в оковы.

Весьма интересным представляется и контраст между двумя метафорами телесной красоты женщины, который организует рассматриваемый фрагмент. Первая из этих метафор как бы суммирует традиционные представления о предназначении женщины и

(40) Looking down the hill a short distance, I saw the women, thousands of them, a huge battering ram in their arms crying: "We've got to get through to men! We've got to make them stop! We've got to get them to understand that they are destroying everything!" They run at the gate with the ram... Over and over again, for five long millennia... Some women are pole-vaulting over the walls, shouting as they leap: "If we can just get in there, we can change everything!"... The men, drunk with adrenalin, are being spurred by the assault to incredible heights of creativity. They have invented bionic metals to reinforce the gate and walls wherever the ram reveals a weak spot, gradually making the fortress impregnable, impenetrable... The assault, by forcing them to strengthen, refine, and embellish the original edifice, serves to entrench patriarchy further with every Whoom! (JW: 17-18).

Осада крепости символизирует здесь многочисленные и практически безрезультатные попытки женщин объяснить свои политические и социальные требования доминантной, мужской части общества, в прямом смысле «достучаться» до нее. Образ контейнера, где скрывается интересующий женщины объект (в данном случае возможность напрямую осуществить коммуникацию с носителями социальной власти), решен автором весьма интересно. Контейнер имеет свойство не только сопротивляться воздействию извне, но и регенерировать в ответ на любые повреждения; такая же нечувствительность к внешнему воздействию (в частности, к настроением значительной части общества) приписывается и косной патриархальной системе социального устройства. Представленная развернутая метафора характеризуется высокой степенью детализации, изобразительной избыточности, которая создает сильный художественный эффект. При активизации фрейма осады используется стандартный сценарий — нападение на крепость и попытки осаждаемых защитить свою неприкосновенность. Во фрагменте эксплицитно представлены многие типовые слоты, организующие данный фрейм, в том числе слот «осадные орудия» (battering ram), «фортификационные сооружения» (gate, walls, bionic metals), «лазутчики» (pole-vaulting over the walls).

В некоторых случаях пространство может быть недоступным для женщины в силу причин конвенционального характера. Этот механизм лежит в основе еще одного феминистского термина —

men's toilet syndrome (Foss, Foss, Griffin 1999: 59), который определяет модель поведения мужчин — представителей властных структур, руководителей, бизнесменов, политиков — по отношению к своим коллегам-женщинам, работающим в тех же структурах и выполняющим нетрадиционные для женщины профессиональные функции. Нередко нежелание мужчин-руководителей делиться властью с женщинами приводит к тому, что все наиболее важные общественно и политически значимые решения начинают приниматься не методом открытого обсуждения, а в неформальной обстановке, в ходе кулуарного «мужского разговора». В результате женщины, даже занимая ключевые посты в государстве и экономике, нередко оказываются отстраненными от реального процесса управления. Пространство мужского туалета выступает в данном случае как метафора всех ситуативных контекстов, исключающих женщин из состава участников.

При реализации императивной стратегии авторы-феминистки отдают предпочтение аналогиям, отражающим либо идею изначального отсутствия каких-либо пространственных ограничений (пример (40)), либо процесс разрушения контейнера (пример (41)):

(40) Men have often put women in very constraining boxes, and one of the goals of feminism is not to replace these boxes with others, but to encourage more free roaming, including encouraging more linguistic innovations and movement (CKE: 53).

(41) The glass ceiling gets more pliable when you turn up the heat! (TWQ: 14).

Ч. Крамарш, автор фрагмента (40), сталкивает между собой две модели самоидентификации, которыми может воспользоваться женщина, пытающаяся осознать свое место в мире. Первая модель основана на конформности и готовности принять жесткую структуру функций, преобладающую андродентрическим обществом для женщины. Эта модель метафорически осмыслена в терминах помещения женщины в тесные ячейки, коробки или ящики (men have often put women in very constraining boxes). Вторая, феминистская модель связана с отсутствием для женщин жестких социальных ограничений; она концептуализируется как возможность для вичем не скованного движения (free roaming, movement). Интересно, что лексема roaming используется и в контейнерной метафоре красоты у М. Уоллстонкрафт (пример (29)), однако в этом случае слово roaming выражает хаотическое движение, ограниченное пре-

для мир языка (дискурса сексуальных меньшинств) и особенно для терминологии, связанной с открытостью, «официальными» признанием человеком своей нетрадиционной сексуальной ориентации (to come out/coming-out, closet и т. д.).

Применение методики когнитивно-дискурсивного анализа миннистским текстам позволяет сделать следующие заключения. Характеризуется своей устойчивой образной системой. Формат формой представления и оценки явлений действительности виденных в определенном ракурсе. Эта образная система служит отражение в устойчивых аналогиях, которые способны выдать как средство идентификации идеологической принадлежности текста. Основные варианты репрезентации данных аналогий могут быть представлены в виде табл. 1.

Анализируя общие направления интерпретации феминистских образов феминистности и маскулинности, мы можем отметить, что в целом при реализации констатирующей стратегии текста маскулинность нередко соотносится с понятиями агрессивности (психологической, физической, сексуальной), доминирования и уничтожения смерти. Данный спектр ассоциативных связей почти полностью отражает тот арсенал традиционных мужских социальных ролей, которые несколько десятилетий тому назад так лаконично обозначил в классик американского феминизма Кейт Миллет: *master, veto, brute, and pimp* (Millett 1977). Исключение, очевидно, составляет лишь роль мужчина-героя (*veto*), которая практически не репрезентируется в пространстве феминистского текста. Образы феминистскими жертвенности, подчиненности, созидательности, теплоты и жизни. Интересно, что реализация императивной стратегии образов феминистности и моделей общественного устройства, нежелки образов маскулинности.

## Глава восьмая

### МЕТАФОРА И МЕТОНИМИЯ АНТРОПОНИМОВ: ГРАДУАЛЬНОСТЬ И КОНВЕРГЕНЦИЯ

Постановка вопроса о переносном употреблении имен собственных личных (ИСл) требует призывания их значимыми словами: ведь там, где нет значения, трудно говорить о семантических сдвигах. В языке происходит постоянное взаимодействие между нами собственными и нарицательными, поэтому границы между узальными и окказиональными употреблением оказываются нечеткими.

Актуализация переносных употреблений антропонимов в дискурсе связана со значительным расширением их синтаксических возможностей. В первую очередь это касается метафоры.

Переносное употребление ИСл представляет собой вторичную номинацию. Иными словами, в качестве исходной единицы рассматривается само ИСл, а затем возможности его приложения к лицам (или другим существам), не являющимся его носителями. В связи с этим возникает вопрос, какие сдвиги происходят в плане их содержания и почему, как говорит М. Вязк, «одни метафоры срабатывают, а другие — нет» (Black 1962: 45).

Семантические типы метафорического переноса имен собственных. Необходимой предпосылкой для переносного употребления ИСл является наличие у него устойчивого лексического фона, т. е. различного рода сведений об имени как таковом и его носителе.

Термин «лексический фон» был введен в научный обиход Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым (Верещагин, Костомаров